

Бетонный мёд

панельные ижорские сказки

Начало

Летела над Выборгской стороной серая утка, свила гнездо в нашем квартале, снесла яйцо — маленькое, но светящееся. Сквозь полупрозрачную скорлупу его небосвода видно было мутноватое жёлтое солнышко, видно было море — чуть белёсое, слизистое, — и ещё было видно всех нас: кровавистую ворсинку.

Хлопала дверь подъезда — самая первая, деревянная, хлопавшая ласково и легко, без тюремного грохота. Тётки несли люпины и макароны в обёрточной шершавой бумаге, и городская околица зарастала ромашками.

— Скушай иичко, — увещевала внучонка баба Вера с четвёртого этажа.

Прилетала утка, вила своё гнёздышко — никто её не замечал; приплывала на нерест в нашу мутную речку огромная рыбина — никто её не видел; пробегала лисица и, хвостом мазнув по зимним окошкам, оставляла отблески на стекле — мандариновые и медовые, — но даже псы на неё не лаяли.

Все смотрели, как работают бульдозера, как меняются фасоны пуховиков, как отечественная история чередует — отфутболив остальных претендентов на трон — Неронов с Калигулами.

Кто разбил светящееся яйцо — тоже никто не понял и не заметил. Но в то лето все черёмухи стояли без листвы, в плотных коконах паутины, паутина кишела червями, и дым от горящих болот застил мутное солнце. Тогда же умерла баба Вера — если я ничего не путаю, в августе.

Но на следующий год опять прилетела серая утка.

Между забором детского садика и торцом кирпичной девятиэтажки, на травяном пяточке с берёзами и сиренью, горбится огромный валун, а поодаль — три валуна поменьше, как молодые кабанчики рядом с маткой. Откуда их сюда привезли — неизвестно, но явно не издалека.

“Нельзя сдвигать священные камни”, — говорит некто строгий из сумерек. И ему отвечает второй, помоложе: “Но уж если сдвигать — то в сторону детства.”

На одном из валунов всегда разложены хлебные корки. Все знают, что баб-Верини товарки заботятся о птицах, но мало кто знает, о каких. Между валунов, надёжно укрытое от праздного взгляда, притаилось утиное гнездо: под вечер ложится в траву *иичко* цвета лунной воды, поутру трескается скорлупа и выходит на асфальтовую дорожку ветерок с золотыми пушинками.

За подкладкой вещей — и за нашей собственной алой подкладкой — вопреки временам расцветает и разрастается миф. Неопознанный.

Хозяюшка

Парни у нас — все в душе рыбаки, и каждого тянет к воде, хотя бы к чахлому пруду. А есть ещё гусяры: кудри ниже плеч, лбы одинокие, над бровями туман, а во внутреннем кармане веточка кукушкина льна и серебристый колок от норвежского стратокастера. Девки у нас — все мастерицы, и не бисером шьют, а дождём, и не по ткани — по воздуху. Походка у наших девок древесная — у кого рябиновая, у кого ольшаная, а бывает и так, словно приземистый куст марширует по своим чащобным делам. И за пазухой у девок земляничники, а в ушках вместо серёг — отражения луны в ручейке.

А все наши тётки — ведьмы, как на подбор.

Есть, например, точечный дом, — такие называются “точка Надёжина”, — и в нём живёт тётка Рая. Фиалки у неё на подоконнике цветут здоровенные, — крупнее любой орхидеи, — причём цветут круглый год; поговаривают, что это не простые фиалки, а хищные. Все полки на кухне у тётки Раи заставлены странными склянками: с мухоморами, с толчёным лишайником, с плодовыми мушками, с моросью, с изморозью. Когда тётка Рая выходит во двор, вороны раздражаются радостным карканьем, а собаки на поводках тянут хозяев — дескать, нельзя же пройти мимо, не поздоровавшись. Хозяева, впрочем, собачью вежливость игнорируют: в тот год, когда разбилось яйцо, пропал и обычай здороваться. На немногочисленных горожан, которые его ещё соблюдают, смотрят теперь угрюмо-презрительно, как смотрел бы иезуит на туземцев.

Тётке Рае нет дела до иезуитов. Она другим занята: то вяжет, то распускает, то плетёт, то распутывает, варит щи из крапивы и ливня, умиряет работников ЖЭКа трёхэтажными заклинаниями, хмурыми вечерами принимает роды у облаков.

Однажды сын тётки Раи набрал кредитов, и к тётке Рае пожаловал чёрт в пиджаке что-то взыскивать — то ли душу, то ли триста тысяч рублей. Тётка Рая закрыла дверь на два замка — на английский и на ригельный, — порубила чёрта сечкой для капусты, налепила мантов и сварила в мантышнице. Накормила мантами двух дедков-алкашей, — им, проспиртованным, ни клочки пиджака, ни чертятина нипочём.

Глаза у тех алкашей — как весенние лужицы. И за окном у тётки Раи всегда капель.

Черти

Кстати, о чертях.

Когда они тут завелись — никто не помнит. Видимо, во времена стародавние: до того, как построили метро, до того, как нагородили у озёр купален и павильонов, чтобы пьяному рыцарю явилась там Незнакомка; до того, как Пекка и Мика стали Петькой и Мишкой; до шведских крепостиц, до безымянных курганов. Может быть, в ночь того дня, когда вождь отобрал плошку с похлёбкой у дряхлого старца. Может быть, ещё раньше. Но когда они расплодись — это многие помнят. Помню и я.

Черти любят строить — вернее, чтобы для них, по чертовским их чертежам, что-нибудь строили. Но довольны они никогда не бывают: начинается лето, и ромашки да лютики всё понастроенное у них отвоёвывают. Голубоватая дымка затягивает верхушки их замков, жучки и капустницы обживают подножья и понемногу, пядка за пядкой, изгоняют вон чертовщину. Черти чешут лысые головы и принимаются рисовать новые планы.

Черти воюют с котами, с кустарниками, с дикой травой, — нанимают рабочих, заваривают окошки подвалов, бреют наголо газоны, посыпают землю отравой; земля страдает, морщится, ёжится, но сдаваться не собирается.

У чертей есть своя культура, очень сходная с нашей, но как бы подгнившая, с душком: если возьмется они рисовать пейзаж, непременно добавят какую-нибудь паскудинку, если захотят сочинить стихотворение — не обойдутся без пошлости, если начнут петь — обязательно сорвутся на визг или захрюкают. Сами черти этим качеством очень гордятся и называют его не иначе как прогрессивным. Из развлечений у них в особом почёте балы — и каждый год, в последние выходные апреля, черти собираются в тайных местах, чтобы вволю пофланировать по блестящим паркетам с бокалом шампанского. Иногда на такие балы попадают и люди — кто нечаянно, а кто и намеренно, чтобы получше изучить чертовские нравы. Я и сам как-то раз побывал на балу у чертей, — и матерьяла собрал на целую диссертацию, — но наутро проснулся с герпесом на губе и с таким насморком, словно ночь напролёт простоял в подворотне на сквозняке. Чтобы вылечиться, я пошёл в магазинчик “Алтай”, подышал человеческим теплом, зверобоем и сушёными пчёлами, послушал стариковские разговоры, приложил к губе ватку с прополисом — и болячка прошла, как рукой сняло, но писать диссертацию о чертях мне расхотелось.

Носят черти в основном пиджаки, — и есть мнение, что на одежду попроще у них аллергия. На улице Жака Дюкло жил один знаменитый шаман, и решил его известить молодой наглый чёрт: то пасквилом в интернете грозит, то бандитами, то исковым заявлением. Шаман терпел-терпел, а потом ухнул сычом, рыкнул медведем, бросился на чёрта, скрутил его и передел: в джинсовую куртейку из секунда, треники-абибасы и китайские кроссовки с Удельного рынка. Чёрт выскочил на улицу, завертелся юлой, запищал и издох, а по другой версии — поплёлся в рюмочную спиваться.

Отличить чёрта от человека непросто, но есть одна верная примета: цена пиджака.

Близнецы

Хрущёвки стоят на топи, на самых древних трясинах, и растут возле них болотные деревца, и хозяйки в хрущёвских кварталах — болотницы. А брежневские девятиэтажки растут на местах посуше, на песчанистых почвах, — там, где раньше сосны гудели, где грунт и сейчас пронизан мицелием боровиков и маслят.

Это лишь видимость, что фундаменты наших домов заложены неглубоко. На самом деле бетонные подвалы бездонны, как карстовые пещеры. В них плещутся погребённые реки, ворочаются ископаемые ящеры и кальцитовые наросты скалят свои бугристые зубы. Особенно хорошо глубинная жизнь слышна по ночам — когда в своих однушках и двушках, на полуторных кроватях, безуспешно пытаются заснуть старшекласники, чьи ноги гудом гудят от неудержимого роста, и пенсионеры, забывшие купить корвалол, — или в полдень, если на дворе стоит лето и воздух подобен горячему пыльному занавесу.

Однажды в полдень человек по имени Ромчик, семи лет от роду, прописанный в доме номер пятнадцать по улице К., обнаружил дверь подвала незапертой.

Странно произносить это слово, но в старину — и под “старинной” нужно понимать любые человеческие времена, хоть и бы совсем недавние, — двери подвалов не нуждались в замках, и детвора могла невозбранно спускаться к дремлющим ящерам. Но когда чертовской закон возобладал над людским, замки и решётки стали распространены повсеместно: их начали

устанавливать и люди, дабы защититься от козней нечистых, и сами нечистые — чтобы ограничить в движении свободу и жизнь.

Поэтому Ромчику, безусловно, повезло, и упустить такой шанс было бы непростительно.

Итак, Ромчик оглянулся воровато, спустился по зеленоватым бетонным ступенечкам, юркнул в дверь и прикрыл её за собой. Поначалу ничего интересного он не заметил — сырость, грязь да трубы разных диаметров, — а потом, приморгавшись, различил в стене прямоугольный проход, завешенный полусгнившим брезентом. В него-то Ромчик и нырнул — не без страха, не без колючих мурашек вдоль хребта, но одолеваемый любопытством, которому страх, как известно, только добавляет перчинку.

Коридор оказался тесным и на удивление длинным. Сколько Ромчик шёл в темноте — сто метров? двести? с километр? — я не скажу, но бетонные стены в какой-то момент сменились на каменные — это он почувствовал пальцами. А в конце коридора брезжил очень слабый, но свет.

Вышел Ромчик в просторный сводчатый зал — в каменоломню ли, в грот ли. Прямо напротив виднелся выход — тоже просторный и сводчатый, и оттуда тянуло лесным хвойным духом. А рядом с выходом, к Ромчику спиной, стоял пацанёнок: белобрысый, взлохмаченный, в загвазданных портках и льняной рубахе, — как из фильма про средневековье. В руке он держал импровизированный факел и коптил гранитную стену: видимо, пытался что-то на ней изобразить.

— Эй! — сказал Ромчик.

Пацанёнок вздрогнул всем телом от неожиданности, повернулся — и Ромчик увидел себя: точно в зеркале.

Оба завопили дурниной и бросились наутёк — Ромчик обратно в свой коридор, а чумазый — в хвойный проём.

Задыхаясь, вылетел Ромчик в подвал. Плечом толкнул дверь. За дверью был всё тот же полдень — сероватый, пыльный, поблескивающий мутным алмазом.

— Офигеть! — сказал Ромчик и пошёл домой есть сырники со сгущёнкой.

Жимолость

Раньше часто можно было встретить кусты волчьей ягоды — то есть красной жимолости — в бордюрах. Потом молодые чертовки — а под их влиянием и наши, обычные, женщины, — стали возмущаться: как так? Ядовитое растение в городе!

И жимолость вырубил.

А появилась она неспроста.

Когда станция метро ещё была проектом, лежавшим на залитом солнцем столе в какой-то пыльной и гулкой конторе, а здания выше двенадцати этажей никто и представить не мог, поспорила лесная госпожа с госпожой луговой: кому в этом месте царить.

— Мои это земли испокон веков, — говорила лесная госпожа. Встряхивала волосами, ударяла об асфальт своим отсыревшим посохом, и на краешке детской площадки вырастали горькушки, и фонарные столбы в тумане казались кедами.

— Сменился век, не обессудь! — отвечала луговая госпожа. Взмахивала передником, топала башмачком, рассыпала вокруг себя ромашки и мышинный горошек; плыли над разнотравьем медвяные ветерки, и трамваи начинали звенеть, как бубенчики на пастбище.

— Ты взгляни, какая здесь почва! — гневалась лесная. — Чернолесье здесь было, чернолесье и будет!

— Зато сколько простора теперь, — улыбалась луговая безоблачно. — Была чаща, стали поля, а уж я их изукрашу по-своему.

Пробегал мимо пёс.

— Рассуди нас, Волчок, — говорят ему две госпожи.

Пёс призадумался.

— Надо бы вам, государыни, примириться, — говорит наконец. — Где закрытое место, пусть будет лес, а где открытое — там пусть будут луга: на то ведь лес и дремучий, чтобы я там дремал, а луга на то и привольные, чтобы я по ним бегал.

Поморщились две госпожи, но возразить не смогли. Луговая взяла себе пустыри, промзоны, проспекты пошире, трамвайные пути и обочины, а лесная — дворы, проезды, переулки поуже, проходы между домами. И оказались доли примерно равными. А на меже посадили кусты волчьей ягоды в честь пёсьего предка.

Гордый собой, пёс отправился дремать к трансформаторной будке.

Разрастался район, и две госпожи правили им в согласии. У кинотеатра “Фестиваль” колыхалась луговая трава, а у меня во дворе шелестел рябиновый перелесок. Потом стало иначе. Но есть ещё люди, которые помнят и чтят предков: наших и пёсьих.

Летние свадьбы

Многие обряды позабылись за последние годы, но кое-какие процветают вопреки всем чертям.

Например: когда наступает лето (не календарное, а всамделишное, и важно заметить, что измочаленный поправками календарь древних римлян еле-еле справляется со своей функцией в наших краях), когда начинает по-честному веять теплом, когда в фиолетовых тучах сгущается что-то южное и даже тропическое, все девчонки и женщины плетут одуванчиковые венки.

Трава в эту пору вымахивает под третий этаж, гром рокочет немолчно, шаровые молнии залетают на лоджии, а из трещин в асфальте расползаются медные змейки.

Девочки выбегают во двор, тараторят заговоры-считалочки и рисуют мелками тайные символы, чьё значение никому, кроме них, не известно. А женщины берут матерчатые пухлые сумки и вереницами движутся к речке — плавные и медлительные, словно опоенные молдавским вином или другим тягучим приторным зельем.

Речка наша, М-ский ручей, вьётся тёмным меандром по маленькой пустошке. Справа от пустошки — панельки, слева — ещё панельки, а на пустошке — ивы и одуванчики. Женщины

достают из пухлых сумок пляжные покрывала, расстилают их на берегу, раздеваются и подставляют плечи летнему воздуху, колкому от стебельков. Воздух делает им массаж своими кошачьими лапками, легонько царапает их коготками, а женщины переговариваются о своих заботах, повседневных и жреческих, и между делом сплетают венки.

К тому часу, когда закрываются почта и жилконтора, не остаётся на берегу ни одной женщины без венка. И тогда небеса над панельками вспыхивают бело-лиловым. И гром выбирает себе невесту, а остальных потчуют мёдом и хмелем приречные духи. До позднего вечера продолжается пир. Наконец, женщины встают, запихивают в сумки свои покрывала и расходятся по домам.

Идут они в сарафанах и платьицах — но таких невесомых, что их ткань не скрывает наготы, а лишь оттеняет её. С венками на волосах.

В глазах у них блещут зарницы и кувшинки качаются на тёмной воде. Подмышками проступает испарина — едкая, как муравьиная кислота. А между бёдер курчавится борщевик, ядовитый и колдовской.

Богатыри

Наши богатыри лежат на диване — потому что печей в панельках не предусмотрено, — и слушают, как копытца дождевых лошадок цокают за окном по карнизу.

Иногда дождю аккомпанирует зацикленный гитарный рифф, иногда мощный голос со ржавчиной хрипотцы подпевает — now I see fire inside the mountain, — ведь богатыри любят богатырские песни, — а иногда лишь ругань соседей доносится из-за стены.

Руки связаны у наших богатырей и лодыжки скованы. Хотелось бы им встать, оседлать вороного, помчаться галопом над кровлями и над деревьями, взмахнуть булавой, — но кандалы не дают, и перевелись те вороные, и нет оружейников, чтобы смастерить булаву.

С виду наши богатыри невзрачны, а некоторые даже хилыми кажутся. Не похожи ни на синеглазого Сигурда, ни на чернобородого Геркулеса, ни на Добрыню с дубовыми бицепсами. В медицинских картах у них значится: “остеохондроз”, “гастродуоденит”, “ВСД”. Но у каждого вместо сердца — молот Тора, и до того он могуче гремит, что от одного далёкого эха этих ударов превращаются черти в мусор и слякотку, а черёмухи пускаются в пляс.

За это их и оковали.

Но раз в году в самом неприметном из сквериков, где раньше журчал хлорированной водой круглый фонтанчик с сине-белой мозаикой, а сейчас зияет пустое место, — раз в году, после самого грозного летнего шторма, вырастает разрыв-трава.

И находится богатырь, который выключает ноутбук, поднимается с продавленного дивана, втискивает свои скованные ноги в ботинки, ковыляет к невзрачному скверику, опускается на колени и зубами выдёргивает пучок травы. За секунду проносится перед его глазами всё тайное, что видел он в детстве, — ведь на вкус разрыв-трава такая же, как детские сны, — и кандалы испаряются, как брошенные в накалённую топку ледышки, и верёвка соскальзывает с запястий, как растянутая бельевая резинка.

Разминает богатырь занемевшие руки, закуривает с наслаждением — и идёт в отшельники или в шаманы. Ведь тому, кто прикоснулся к разрыв-траве, биться и кровь проливать больше не хочется.

Правила дорожного движения

Дворы у нас устроены не по законам геометрии, а по прихоти снов: шёл-шёл по дорожке, вдоль светло-серого дома или вдоль сине-зелёного, ни за какой угол не заворачивал, а вдруг оказался по ту сторону — дома или пространства, уточнить я не буду, — и смотрят окошки уже не слева, а справа, и ветерок не с востока дует, а с запада. Нырнул в подворотню, в створе которой виднелись горка на детской площадке и торец гаража, — и обнаружил себя посреди чащи, на кочках, пахнущих моховиками. Пересёк двор по диагонали — и опять стоишь в начале пути, словно не двигался вовсе, и опять перед тобой та же косая тропинка, протоптанная через газон, и по её краям, как кружавчики, сереют бессмертники.

Есть две девятиэтажки, впритык друг к другу построенные. Выглядят они неподвижными, но на самом деле сходятся и расходятся, как те самые скалы, между которыми проплывал Одиссей. И когда между ними зияет проход, лучше в него не соваться: говорят, один человек решил таким образом срезать дорогу, а здания сдвинулись, раздавили его и впитали месиво своими кое-как заделанными швами. А другой человек, совсем молодой, как-то раз ночью свернул во двор с улицы Есенина и увидел, что вместо двора простёрлось болото с чахоточными деревцами, над ним белеет весенний туман, и тянется вдаль по болоту бревенчатая гать — полусгнившая и подтопленная. Человек, хоть и был подшофе, смекнул, что не стоит ходить по гати, метнулся обратно на улицу Есенина и пошёл домой в обход. Но кроссовки его — дорогие кроссовки, “Найк” или “Пума”, — успели подмокнуть в болотной воде. Человек поднялся к себе, выпил чаю с сахаром и лёг спать. А через пару часов проснулся от грохота: кто-то ломился, как бешеный, во входную дверь. Человек, недолго думая, схватил перцовый баллончик, выскочил в прихожую, заорал: “Вам чего, мать вашу!..” — глядь, а это кроссовки тарабанят в дверь, просят выйти. “Зелёную марку больше не пью!” — решил человек, отомкнул дверь, выпустил кроссовки и пошёл досыпать. А кроссовки бегом спустились по лестнице, потоптались у запертой двери подъезда, разбили крепким пинком окно первого этажа, сиганули вниз и ушли по гати незнамо куда.

Чтобы такого не приключалось и добрыми были неевклидовы сны наяву, надо всегда иметь при себе три вещицы. Прежде всего — клубок, и чтобы нитка была свита из подорожниковых жилок. Ещё оловянного солдатика — можно матроса, можно и кавалериста. И, наконец, складной ножик с пластмассовой рукояткой, на которой выштампована фигурка русалки и проставлена цена — 2 р.

Но самое главное — чтобы все эти вещи были невидимыми.

Странствия

Большие храмы лесному племени не нужны — есть сосны, что выше колонн, и небо, что вековечнее архитравов, и валуны есть, что благочестивее алтарей. Да и не порождала никогда наша земля Иктинов и Калликратов, — а может, и порождала, но вездесущие черти мешали им строить.

Но святилища крохотные, игрушечные, — младенческие божницы, детские капища, — удавались на славу нашим строителям. И не было такого двора, не было такого пустырика, где не нашлось бы местночтимой святыни.

Были резные филины в зарослях, на деревянных столпах, потемневших от ливней и покрытых, как позолотой, рыжим лишайником. Были кирпичные крепости, в которых по ночам собирались на совет коренастые гномы. Были покрывки, врытые в песок и расписанные масляной краской: они изображали ход солнца, а те покрывки, которые лежали плашмя,

заполненные землёй, и служили клумбами для бархатцев и анютиных глазок, — они обозначали сердце галактики. Были скульптурки из бетона, а кое-где и гранитные, и боковины лавочек были в форме коньков-горбунков.

Дети прыгали по покрывкам, устраивали тайники в крепостях, зубрили заклятия под строгими взглядами филинов, и другие дети, помладше, учились от них малым таинствам. Через эти обряды все проходили. А до великих — которым взрослые учатся у старейших — дозревали не все. Кто дозрел — тот о них не рассказывает. Но о детском можно немного сказать.

Был в одном дворе кораблик с прозрачными парусами. Борты у него были цвета ромашковой сердцевинки, а палуба — цвета трамвайного бока. И управлять им было непросто: если не нравился кораблику капитан, если юнга ныл, если боцман плевался, он не двигался с места. Но когда подбиралась команда, которая приходилась кораблику по душе, он радостно устремлялся вперёд — по большой реке, а потом и по морю, — причаливал в бухте, полной чудес и сокровищ, и, нагруженный сокровищами, пускался в обратное плавание. И тогда прилетала чёрная птица, застила крыльями полнебосвода и драла когтями прозрачные паруса. На этот случай у капитана была сабля из чертополоха, — никаким другим оружием чёрную птицу не одолеть, — и, зажмурившись, он принимался рубить чудовищные костистые лапы. Ярилась чёрная птица, кренила кораблик, сокровища падали за борт и тонули в пучине цветущего клевера. Долго длилась жестокая битва, а когда прекращалась, когда улетала чёрная птица к своему чёрному берегу, штурман налегал на разбитый штурвал и вёл кораблик домой, — под изодранными парусами, с ошметками тины на палубе и горечью в трюме.

А ещё была ракета из металлических прутьев, спрятанная в самой гуще малинника. Кто её находил, должен был слетать на Луну и вернуться. Все летали и все возвращались, с лунной пылью в сандалиях. Но один пацан, который читал много книжек по астрономии, набрал на пульте совсем другие координаты — и отправился прямо на Сириус.

Возвратился он только к вечеру, когда солнце уже покраснело, как арбузная мякоть. Глаза его стали странными — зелёными и золотыми. Пальцы стали тоньше и как будто немного длиннее, — и можно было разглядеть между ними тоненькие перепонки, как у намибийских гекконов, — и голос его звучал теперь тише и звонче, а из нагрудного кармашка торчала веточка невиданного коралла: бледно-сиреневого и светящегося.

Чертобой

Иногда случаются злые часы. Чаще всего — по зиме, ближе к ночи, когда небо похоже на мёрзлый уголь с кровавым отливом. Но и осенью бывают злые часы, и летом, и даже весной. Во всём районе столбенеют деревья, цепенеет неон, исчезают житейские тёплые звуки — словно настройки эквалайзера сбились, — а за левым плечом что-то жахает с провизгом. Это черти охотятся.

В такой час может всякое произойти. Мирные алкашики могут схватиться за кухонные ножи и перерезать друг друга. Припозднившийся прохожий может получить лезвие в бок или очнуться в реанимации с пробитым затылком, — если только отыщется тот, кто вызовет скорую помощь, если только скорая помощь приедет на вызов, потому что в злые часы диспетчеры спят и фельдшеры работают спустя рукава, а водители легковушек никому не уступают дорогу. Может выйти из подворотни бесноватый мертвец в царской шапке, со скипетром из человеческой кости в руке, — а за ним, как свора разъярённых питбулей, опричники в камуфляже.

И людские лица плывут, искажаются, покрываются язвами, как у лепрозных. Проваливаются носы, обнажаются корни зубов. Из гортаней харчками вылетают гнилые слова. Человек человека не узнаёт: вместо имён и фамилий шевелятся в отёкшем мозгу сословия, звания, масти и прочая червивая дрянь, а вместо родства и соседства простирается между людьми полынья — стылая, чёрная, — и мерещится людям: кто первым столкнёт в неё ближнего, тот на миру и хозяин.

Люди знающие в такие часы из квартир не выходят — ни за сигаретами, ни за пивом, ни с собакой гулять. Вместо этого они задёргивают занавески, зажигают лампы, наполняют горячим чаем пузатые чашки и достают из шкафов обереги.

А лучшим оберегом от нечисти считается железо-трава. По-научному она зовётся Ахиллесовой травой, а в обиходе — тысячелистником. Хранить её нужно между книжных страниц — и книга должна быть не абы какой, а священной, одной из тех, что сильных делают справедливыми, а слабых — непобедимыми.

В злые часы каждый знающий снимает с полки свою священную книгу. У одного человека это сказание о Троянской войне, у другого — роман о Великой Отечественной, у третьего — сборник стихов, над которыми чайки кружат или цветущий миндаль розовеет. У многих — сказка о Василисе или о Финисте. А у некоторых шаманов все книги на полках — священные.

Открываются книги на страницах, заложенных веточкой железо-травы, и отщипывается от веточки махонькая частичка — кусочек стебелька, лепесток или листик. Его бросают в пузатую кружку и дают настояться. А затем нужно медленно выпить настой, перечитывая обережное слово: чтобы и разум, и плоть пропитались как следует.

Лампы горят, освещая страницы, пока не закончатся злые часы и не спрячутся черти. Тогда знающие люди встают и выходят на улицу — кто за пивом, кто за сигаретами, кто прогуляться с собакой. От настоя железо-травы мышцы у них звенят, как в ранней юности, и дышится им легко. Но если кому-то из них приходится идти мимо здания полиции, недавно построенного рядом с метро — там, где раньше росли на приволье чертополох и тысячелистник, — они всё-таки складывают пальцы в особый знак, отгоняющий всякую нежить. Как он выглядит, я не скажу.

Чистое место

В чистые времена, незапятнанные и незапамятные, люди старались жить так, чтобы краски, звуки и чувства в одну кучу не смешивались. Когда гусли играли — плотники откладывали в сторонку свои рубанки и молотки. Когда свадьба гуляла, военных песен не пели.

И, конечно, шаманы зорко следили за тем, чтобы не размывались границы миров. Что принадлежало нижнему миру, держали особняком: никому бы в голову не пришло хоронить покойника посередь села. Что принадлежало верхнему миру, тоже особняком стояло — на печи, над воротами, на самых светлых лужайках. А бывали и места пограничные, сквозные: словно тоннели или лесенки между мирами. И такие места чтит народ беспримерно, хотя и побаиваясь.

Но потом всё забылось и перепуталось.

Вот у нас, например: посреди района красуется морг, а в десятке шагов от него — шашлычная (поначалу много ходило шуток о том, что за мясо там жарят, но потом народ по привычке и шутить перестал). А напротив — жилия девятиэтажка, нежно-зелёная, с мальвами в

палисаднике. Окна кухонь и спален смотрят прямо на морг, и никто уже не удивляется: невозмутимо, как ни в чём не бывало, обедают люди с видом на морг и с видом на морг засыпают. Разве что изредка, когда начинается разлад у какой-нибудь семейной четы, когда выясняется, что жена завела любовника, — щекастого, как бобёр, и на внедорожнике, — или муж повадился к хрупкой молодой наркоманочке, за дозу и платице с “Вайлдберриз” способной ублажить мужика лучше гейши, — выходит на сцену ясновидящая Амалия, на каблуках и в браслетах из оникса, чтобы зловещим шёпотом произнести: “В нечистом месте живёте! Переехать вам надо!..”

И кто-то переезжает. Кто-то просто разводится.

А возле морга подростки гоняют на скейтах и роликах. И тут же, в больнице, ходят по коридорам беременные. И рабочие из автосервиса пьют в шашлычной пиво “Очаково”, а над ними, как жёлтая туча, громоздится здание типовой АТС — символ связи миров.

Идёт мимо шаман и видит: всё это место, окружённое акациями и боярышником, — как старая закопчённая сауна, каких раньше было много в наших краях. Топится она по-чёрному: изо всех щелей валит дым. В сауне покойника обмывают. В сауне принимают повитухи роды у баб. И крестьяне в той же сауне с себя усталость смывают, и в ней же девки собираются погадать.

Видит шаман: всё забылось, всё перепуталось, — да только не изменилось.

И становится человеческая глупость гармонией.

Как Серёга с чёртом израл

Откуда берутся шаманы — разговор особый. Но первое посвящение принимают они ещё в детстве.

Например, заигрался мальчишка на стройке, заглянул в котлован под каким-то особым углом, — а оттуда повеяло благоуханным дымком, полынью и пижмой. Вдохнул мальчишка дымком, а к вечеру выросли у него между щуплых лопаток орлиные крылья, чтобы парить на заре над проспектом и над домами.

Или так: сидит себе девчонка на корточках, ковыряет палочкой землю, чтобы закопать под кустами “секретик” — горстку бусинок, накрытых стекляшкой, — и выпархивает из земли фиолетовый огонёк, садится девчонке на чёлку, и начинает девчонка видеть вещи сокрытые.

Другие дети не любят юных шаманов и зачастую их мучают. Во-первых, уж больно странно они себя ведут. А во-вторых — даже детям черти на ухо нашёптывают: задавите гадёнышей, пока не окрепли.

В школе номер четыреста шестьдесят восемь учился один шаманёнок. Серёга. Мама у Серёги пила, а папы и вовсе не было. Усыновил Серёгу леший из парка и воспитывал, как родного. Знал Серёга все беличьи схроны, ноздри натирал мухомором, волчьи ягоды горстями ел без опаски. Когда пацаны прогуливали урок, чтобы покурить “Честерфилд” и разрисовать маркером стены в подьезде, Серёга бежал в гущу парка, находил там чёрный пруд без берегов и без дна и болтал о своём с плавунцами.

Пацаны Серёгу гнобили: то поколотят, то утопят дневник в унитазе, то штаны сдёрнут с Серёги прямо перед девочками.

Из обычных мальчишеских слабостей была у Серёги одна: жевал Серёга турецкую жвачку и копил вкладыши. Вкладыши эти в ту пору ценились детьми на вес золота. Только хвастаться своими богатствами было Серёге не перед кем, а уж играть на них, как в казино, — тем более не с кем.

Как-то раз во время перемены между литературой и геометрией сидел Серёга в уголке коридора и тоскливо грыз ногти. Вдруг видит — подходит пацан: на пацане американские джинсы, толстовка, рэперская шапка-носок, из-под шапки белёдые волосинки торчат, и ресницы у пацана тоже белёдые, и глаза беловатые, как оцинкованные. Разумеется, чёрт это был, но Серёга не почувствовал подвоха.

— Давай во вкладыши? — спросил чёрт.

Обрадовался Серёга и согласился. А лапка у чёрта ловка: к концу перемены проиграл Серёга все вкладыши. И с машинками, и с мотиками, и с голыми девками.

— Давай так, — сказал чёрт. — Я тебе верну твои фантики, а ты больше на пруд не ходи. После уроков приходи в парадняк, у меня пачка “Честера” есть.

— Ладно, — ответил Серёга.

Так Серёга продал чёрту свой дар. И вырос он не шаманом, а простым мужиком: с “Ладой Грантой”, кредитами, камнями в почках и жадной любовницей.

Кузнец

Поклонная гора своё название получила не потому, что на ней кресту кланялись, — хотя есть там и крест, и обычай такой бытовал какое-то время, — а потому, что всякому местному жителю, который на неё подымается, хочется своей окрестности поклониться.

И широченным проспектам, и между ними притулившимся улицам, и верхушкам деревьев, и домам-кораблям, и озёрам, что за шоссе, под низким обрывчиком. И собачьим площадкам, на которых задорные таксы гоняют бульдогов, и детским садам, где роется в песочницах мальшняя, а воспитательницы, не отрываясь от телефонов, потягивают: “Отдай ему совочек! Федя, отдай!”

И грозovým облакам, которые неизменно нависают над нашими крышами — и в пасмурную погоду, и в ясную. И дождям затяжным хочется поклониться, и поджаристым хачапури в ларьке, и даже неуклюжей мелодии, которая вечно болтается, как беспризорник, у входа метро. Её выжимает из дряхлой гармонии алкоголик с дебиловатым лицом. Всем хочется поклониться — и многие кланяются. Разумеется, мысленно, но гора и не просит о большем.

Под Поклонной горой есть пещера. В пещере устроена кузница, и работает в кузнице старый кузнец: такой старый, что озёра ему кажутся новорождёнными. Но глаза у него — как у юноши, и борода не тронута сединой.

Куёт кузнец вещи диковинные: женскую болтовню и мальчишечий гомон, щенячий лай и младенческий плач. Куёт живых ос и шмелей, чтобы залетали в окна к хозяйкам, и узорные листья для лопухов, и ледяные дорожки для января, и влажные звёзды для марта. А ещё куёт —

и это самое главное — тончайшую сеточку, вуалечку из тумана и света. На дома и на деревья наброшенная, делает эта вуалечка нашу местность неповторимой. Каждой луже придаёт она особый характер, каждой рытвине — свой собственный нор, не сравнимый с другими, и окошки панелек начинают ярче и теплее мерцать, и слаще начинают пахнуть акации. Куда ни глянь — и на людях, и на предметах лежит эта тонкая сеточка: то золотом сверкает, то серебром.

Черти рвут её своими вилами — а он куёт.

Бетонный мёд

В старые годы забегаловок и лавчонок в панельных домах не водилось. Были строгие магазины, государственные: хозтовары, например, или комиссионка. И были универсамы с зелёной буквой У, в осенних сумерках светившейся по-ведьмовски.

Но это вовсе не значило, что народ свободной торговлей не занимался. Один дед развернул целый гипермаркет у себя в гараже и сбывал мужикам вещи поистине уникальные: кому сапоги на ершовом меху, кому дрель-мозговёртку, кому фляжку-непротрезвляйку. Жена же его промышляла, — как и большинство наших пенсионерок, — производством всяческих зелий.

И помимо тех зелий, которые гонят, по давней традиции, из картошки, из карамелек “Рачки”, из трамвайных сидушек и из кусков оргалита, умела она делать и лечебные снадобья, — такие, что со всего района, а порой даже из области приезжали к ней с грыжами, радикулитом и со срамными болезнями.

В некотором роде срамной была и та хворь, которой страдал один парень из самой длинной новостройки района, — так называемой Китайской стены. Выражался его недуг в физической непереносимости собственной родины: стоило парню выйти из дома, взглянуть на кирпичные стены путяги и сентябрьскую морось над улицей Сантьяго-де-Куба, как его пищевод сжимался от тошноты, и всё лицо его зеленело, когда мимо шли алкаши с мальками “Столичной”. Товарищи над ним потешались и советовали поменьше Сартра читать, а преподаватели в ВУЗе писали в характеристиках: “идеологически безнадёжен”.

Обойдя безуспешно хирургов и терапевтов в госполиклинике и услышав вместо диагноза “я щас милицию вызову”, парень решил испытать последнее средство.

— Сейчас я тебя тараканьим жиром натру, — сообщила ему, ещё не разувшемуся, старуха-целительница.

Но тараканий жир не помог, и от одного взгляда на календарь со сборной СССР по футболу парню ещё пуще скрутило желудок.

— Погоди, погоди... где-то тут была у меня баночка... Вот: мумиё со сталинским прахом, — хлопотала старуха.

Не помог и сталинский прах.

— Крепка порча, — вздыхала знахарка. — Приходил ко мне один такой... от чего же ему полегчало-то?.. А! На-кась, выпей... Не бойсь, настоечка это. На юнкерском сапоге.

Когда в квартиру вошёл дед, парня рвало жёлтой жижей на потёртый линолеум.

— Мёду ему надо бетонного, — крикнул дед и полез на антресоль искать надфиль-кладенец для очередного заказчика.

Парень хмыкнул, — то ли чокнулся старый, то ли попросту издевается, — потерпел ещё пару минут бабкины притирания и пошёл восвояси.

Боле́л он ещё долго. Мучительно боле́л. Потом времена изменились, парень уехал в Японию и там моментально выздоровел. Но через несколько лет по какой-то причине пришлось ему ненадолго вернуться, и уже в Пулково его опять затошнило.

Так, борясь с тошнотой, оформлял он наследство или делал какие-то другие неотложные дела, а перед самым отъездом пришёл на М-ский ручей и там, у приземистого троллячьего мостика, присел на бетонную плиту покурить. На плите было написано мелом: “Света — шлюха”.

Почему-то парня эта надпись задела. Одни говорят, что его покойную мать звали Светланой, другие — что в девятом классе он получал от какой-то Светки записочки, и есть даже мнение, что Света была проституткой, с которой он познал премудрость любви. Как бы то ни было, натянул он рукав на ладонь и принялся тереть “шлюху” манжетом, так что вскоре она превратилась в бледное меловое пятно.

А надпись “Света” осталась. И с кособоких буквочек что-то стекало — как кровь со шрифта на кассете Obituary, но густое и золотистое.

Эпилог

Дует ветер с залива. Ломает тонкие ветки, а могучие выгибает. В такую погоду хорошо вспоминается. Вот я и вспомнил кое-что из того, что знаю о наших местах. Даже вкус разрыв-травы у фонтанчика вспомнил, как наяву. И ракету в малиннике, и сабельку из чертополоха.

И ещё почему-то мне вспомнился Андрюха Шмидт. Когда Андрюхе Шмидту делали замечание — не по-русски, мол, водку ты пьёшь, — тот отвечал неизменно:

— А какой я вам, к лешему, русский?

Но в квартире у него царил бардак, и очередная пассия, вынимая Андрюхин носок из цветочного горшка, говорила:

— Странный ты немец — никакого порядка...

— Какой я тебе, к лешему, немец? — обижался Андрюха.

Дует ветер с залива. Ходуном расходились берёзы в мокром саду на острове Хирвисаари. И у нас, на М-ском ручье, ивы машут расшитыми рукавами, и косматый печальный Хииси в лесопарке дует в дуду, считает сосны — своих лосей. Девчонки-болотницы ему подпевают протяжно, а в паре кварталов от них тётка Рая поливает водопроводной подземной водой свои хищные чудо-цветы.

Дует ветер с залива. Непокойно чертям в их роскошных квартирах с панорамными окнами. Чуют черти: на стороне человека стоит такое древнее воинство, что один лишь лучепёрый дед-Океан его старше, — но и тот на стороне человека стоит.

Чуют черти: увязнут и сгибнут в человеческой глубине, как в цветущей трясине. Глубины человеческой крови ни гербом, ни букварём, ни циркулем не измерить, а земной глубины не измерить тем более. Племян в лесном краю — как грибов в сентябре. А нация одна: *к лешему*. И леший её охраняет, и гром бережёт.

Давеча, когда ветер с залива подул и наломал веток, я спустился во двор, подобрал рябиновый прут и обвёл вокруг себя огненный круг, чтобы черти боялись. Сгорели в огне и кредитные карты, и гербы, и свидетельства, и паспорта.

А если когда-нибудь истории потребуется моя метрика, вот она: по национальности — варвар. Место рождения — Фенноскандия, станция метро Озерки. Вероисповедание — аборигенное.

Ноябрь 2023